



Андрей Колесников

ПОПЫТКА СЛОВАРЯ

СЕМИДЕСЯТЬЕ и ранее



УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

К60

*Фотография автора на переплете –
Романа Гончарова*

Колесников, А. В.

К60 Попытка словаря. Семидесятые и ранее / А. В. Колесников. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 320 с. – (От первого лица).

ISBN 978-5-386-02280-8

Эта книга о типичной и в то же время очень нестандартной семье 1970-х, которой достались все атрибуты эпохи – и цековские пайки и лагерные пайки. Ее можно было назвать «записками оранжерейного мальчика» – счастлив тот, чье детство пришлось на годы застоя, чей папа – работник ЦК, а мама – преподаватель французского языка в спецшколе. Мир мальчика не только кунцевская шпана и советский хоккей, но и лето в Юрмале и зима в пансионатах для номенклатурного плебса. Фон биографии этой семьи – история самой страны: репрессии 1930-х годов, война, послевоенное студенчество, шестидесятники-интеллигенты... В этой попытке «словаря» советской эпохи почти каждый читатель узнает самого себя, предметы и понятия, из которых состояло прошлое.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-02280-8

© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2010

Ване, Васе, маленькой Симочке

**Благодарности за содействие
и ценные замечания**

Денису Драгунскому,
Борису Жутовскому,
Алану Касаеву,
Михаилу Мельникову,
Илье Мильштейну,
Николаю Митрохину,
Александру Привалову,
Маше Трауб,
Григорию Юнину.

«В ту ночь, когда Марри уехал, я вспомнил эпизод раннего детства, когда я, маленький, не мог заснуть, потому что дедушка умер, а я все требовал, чтобы мне объяснили, куда он исчез, и тогда мне сказали, что дедушка превратился в звезду. Мама вынула меня из кроватки, взяла на руки, отошла со мной по дорожке от дома, мы вместе смотрели на ночное небо, и она объяснила мне: дескать, во-он там, одна из тех звездочек — дедушка. Другая — бабушка и так далее. Когда человек умирает, объясняла мне мать, с ним что происходит? Улетает себе на небо и живет там в виде мерцающей звездочки. Я всмотрелся в небо и спросил: «Вон та, что ли?», она сказала: да; мы вернулись в дом, я уснул».

Филип Рот, «Мой муж — коммунист»

Куда деваются вещи? Выброшенная в окно автомобиля бумажка. Отодранная от подошвы ботинка жвачка. Оставленное около мусорного контейнера при переезде на другую квартиру темно-бордовое четвертое полное собрание сочинений Ленина. Квитанция из химчистки, служившая закладкой в первом томе.

Кажется, вещи исчезают в той же черной дыре, что и человеческая память. Куда пропадают слайды памяти, когда человек умирает? Где находится тот депозитарий, в который всасываются и растворяются без остатка вещи, предметы, сны, обрывки воспоминаний и «усеченный волос», который, согласно Бродскому, как и все остальное, сохраняет Бог? И можно ли бороться со временем, перемалывающим всю эту бесполезную массу материального и нематериального?

Попытки борьбы — это уход за могилами близких, за прахом в колумбарии, который со сменой поколений вдруг становится невостребованным, это упорное стремление сохранить семейный архив, семейную библиотеку, осколки фамильного фарфора (если он, конечно, уцелел после двух-трех войн, включая холодную, и репрессий, включая борьбу с космополитами).

Сожрет ли время окончательно память о сестре бабушки, тете Гене, если кто-то из моих внуков выбросит за ненадобностью хранимый мною с неистовым упрямством старый коричневый портфель, заполненный почетными грамотами и фотографиями тети гениных сослуживцев, тетрадкой с ее стихами и портрета-

ми двух детей, умерших в блокаду Ленинграда? Мама умерла, и теперь я даже не смогу найти емкость с прахом тети Гени в одном из колумбариев Донского кладбища. Да, и если быть честным, моральных сил мне на это не хватит. Зато я ее помню и по-прежнему люблю детской любовью внучата племянника и поклонника стихов про память об умерших в блокаду детях, о ненависти к Сталину, о мучительной бессоннице в московском районе Вешняки после переезда из коммуналки на улице Обуха.

Когда мне страстно хочется поговорить с отцом, я достаю кожаную папку, одну из тех, с которыми он ходил на работу, в которую мама уже перед своей смертью сложила дневники папы, содержащие записи о многочисленных служебных командировках и совместных поездках супругов в отпуск. Я отмечаю в автожалобах на плохое самочувствие явные симптомы болезни, которая спустя 20 лет превратит существование отца в невыносимое, в то, что в некрологе назовут «тяжелой и продолжительной», нахожу трогательные и неоспоримые доказательства любви к жене и сыновьям и, как мне кажется, даже чувствую его запах, вижу руку, делающую торопливые пометки в блокноте, и попытку попасть в страницу, когда поезд, отправляющийся в очередную тьмутаракань, особенно выразительно качнулся.

Поскольку мы все равно не знаем, куда деваются вещи, куда исчезают люди и как скоро они прорастают к нам травой или становятся всего лишь объектом исследования почвоведа, как на старом еврейском кладбище в Праге (где уже, в сущности, нет никаких мертвцевов, ибо время сожрало плоть), имеет ли значение местора-

сположение или даже наличие могилы? Друг моего отца, он же — отец моего друга, завещал развеять свой прах в Рублевском лесу, там, где мы гуляли семьями в 1970-е и, судя по последней воле покойного (да, собственно, и по моим воспоминаниям), были счастливы. (Покойный был автором лучшего устного завещания, которое я когда-либо слышал: «Я всю жизнь пил джин, а надо было — виски».) У этого последнего желания нашлись естественные противники, потому что ведь важно куда-то прийти, чтобы поговорить с покойником, принести ему цветы. Но могилы и материя не вечны. А постоять — помолчать или поговорить — можно и в Рублевском лесу, потому что: «Время, стоявшее с памятью, узнает о своем бесправии».

Память сильнее плоти и тех мест, с помощью которых она обозначает свое присутствие. Интуитивно почувствовав правоту этой мысли, мой друг исполнил волю отца и развеял прах под рублевскими соснами. Как говорилось в нашем с ним любимом фильме Данеллия «Не горюй!»: «Нашел повод напиться»...

Возможно, этого пока достаточно для того, чтобы, по крайней мере в текущем сете, переиграть время?

По некоторым признакам, это май 1970 года. Или апрель 1969-го, а может, 1971-го. Это важно, однако невосстановимо с точностью до даты. В начале седьмого отец выходит из седьмого же подъезда ЦК, развернутого углом к улице Куйбышева, ныне Ильинке, перекладывает из руки в руку черную кожаную папку, где помимо непрочитанной утром «Правды» лежат какие-то бумаги в голубоватом цековском конверте и завер-

нутый в салфетку маленький пряник (из буфета) с отпечатанным на нем именем «Вася». Он смотрит на часы на серой башне Комитета госпартконтроля, где когда-то сам работал под началом товарища Шепилова, а затем товарища Шверника, и после секундного раздумья решает идти по Большому Черкасскому, а не вдоль Новой площади. Позади остаются номенклатурное ателье по пошиву одежды, выдаче одинаковых черных бареток и унылых зимних шапок, затем — аптека № 1 с ее старорежимным интерьером.

Несмотря на то что уже вечер, солнце шпарит с почти летней энергией. В «Детском мире» отец покупает красно-желтую пластмассовую клюшку для имитации игры не то в хоккей с мячом, не то в хоккей на траве. Спускается по щербатым ступеням, садится в метро и едет по прямой линии до станции «Проспект Вернадского», отрываясь от чтения «Правды» только для того, чтобы рассеянно обозреть прозрачную капсулу остановки «Ленинские горы», куда мы с ним отправимся в выходные — прокатиться на знаменитом эскалаторе и погулять. До нашего дома на углу Кравченко и Ленинского отец идет минут пятнадцать. Клюшка приводит меня в невообразимый восторг. Кто бы мог подумать, что я каким-то непостижимым образом запомню этот вечер и декорации к нему — ярко-красный, во все окно бабушкиной комнаты, закат...

Мне часто снится эта наша квартира на Ленинском. Длинный двор, соседний детский сад, откуда я в первый же день пребывания сбежал домой, и почему-то грохочущий лифт с круглыми, похожими на пуговицы, кнопками. Я плохо помню эпизоды жизни в этой квартире. И теперь бесконечные сны кажутся попыт-